

КОНСТАНТИН
ЛЕОНТЬЕВ

Константин Леонтьев

Византизм и славянство

«Что такое византизм?»
Византизм есть прежде всего особое лицо
образованности или культуры, имеющее
свои отличительные признаки, свои общезна-
емые, резкие, понятные начала и свои
определенные в истории последствия...

Византизм в государстве значит —
самодержавие.

В религии он значит христианство
с определенными чертами, отличающими
его от западных церквей...

«Что такое славян?»

Ответа нет!... Славян, взятый
во всецелости своей, есть еще
офеникс, зародок...

Константин Леонтьев

**Средний европеец как идеал и
орудие всемирного разрушения**

«Public Domain»

Леонтьев К. Н.

Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения / К. Н. Леонтьев — «Public Domain»,

Константин Николаевич Леонтьев начинал как писатель, публицист и литературный критик, однако наибольшую известность получил как самый яркий представитель позднеславянофильской философской школы – и оставивший после себя наследие, которое и сейчас представляет ценность как одна и интереснейших страниц «традиционно русской» консервативной философии.

Содержание

II	13
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Константин Леонтьев

Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения

<Начало отсутствует.>

[Теперь посмотрим, не подтвердит ли наше мнение сама Европа устами самых знаменитых своих писателей.]

Все эти писатели на *разные лады* подтверждают наше мнение; все согласны в том, что *Европа смешивается* в действительности и *упрощается* в идеале. Разница в том, что иные почти довольны той степенью смешения и упрощения, на которой находилась или находится в их время Европа; другие находят, что смешение еще очень недостаточно, и хотят крайнего однообразия, думая в этом оцепенении обрести блаженство; а третьи негодуют и жалуются на это движение.

К первым относятся более или менее все люди умеренно либеральные и умеренно прогрессивные. Иные из них не прочь от крайнего упрощения, но боятся бунтов и крови и потому желают, чтобы равенство *быта* и *ума* пришло постепенно.

Таков, например, Bastiat в своих «*Harmonies économiques*»¹.

Его книга дорога именно тем, что она *пошла* и доступна всякому. Он говорит: «Мы не сомневаемся, что человечество придет ко всеобщему одинаковому уровню: материальному, нравственному и умственному», — и очень, по-видимому, рад этому; желает только постепенности в этом упрощении и формы его не предлагает.

Таков Абу в своей книге «*Le progrès*»².

В ней вы найдете тоже очень ясное расположение ко всеобщему однообразию. В одном месте он смеется над провинциальным собственником, который робеет в присутствии префекта, забывая, что префект одет хорошо и живет хорошо на *подати, платимые этим собственником*; смеется над матерями, которые хотят одеть сыновей своих в *мундиры*, вместо того чтобы учить их торговать или хозяйничать... (И мы готовы смеяться над мундирами, но не за то, что ими поддерживается хоть какое-нибудь отличие в нравах и быте, а за то, что они *пластически безобразны* и европейски опошлены.) В другом месте Абу говорит: «Конечно, *храбрый генерал, искусный дипломат* (*un diplomate malicieux*) и т. п. полезны, но они полезны для мира *в том виде, в каком он есть теперь*, а придет время, в которое они не будут нужны». Вот и еще *две-три формы* людского *развития*, человеческого *разнообразия*, *психического обособления индивидуумов* и *наций* уничтожаются. Не позволены уже более ни Бисмарки, ни Талейраны, ни Ришелье, ни Фридрихи и Наполеоны... Царей, конечно, нет и подавно. Про духовенство Абу прямо в этом месте не говорит, но он во многих других местах своей книги отзывается или с небрежностью, или даже с ненавистью о людях верующих. «Пусть себе кто хочет ходит в синагогу, кто хочет в протестантскую церковь и т. д.» Подразумевается: «Это не страшно; с этим прогресс справится легко!»

Кто же ему нужен?

Ему для прогресса нужны: *агрономы* (смотри дальше об излишней обработке земного шара, у Дж. Ст. Милля и Рилля), *профессора, фабриканты, работники, механики* и, наконец, *художники и поэты*... Прекрасно; понятно, что механик, агроном, ученый могут как сыр в масле кататься, обращая пышный шар земной в одну скучную и шумную мастерскую...

¹ «Экономические гармонии» (фр.).

² «Прогресс» (фр.).

Но что делать *поэту* и *художнику* в этой мастерской?.. Они и без того задыхаются больше и больше в современности. Не лучше ли сказать прямо, что и они вовсе не нужны, что без этой роскоши человечество может благополучно прозябать. Есть люди, которые и решались так говорить; но не таков Абу. Любопытно бы проследить, *о чем именно* писали все современные поэты и романисты и какие сюжеты выбирали живописцы нашего времени для своих картин. Такого рода исследование о писателях XIX века покажет нам, что лучшие из них, если и брали сюжетами своими *современную жизнь*, то лишь потому, что в ней много еще было остатков от прежней Европы и что то плоское, повальное, буржуазное просвещение, о котором заботится Абу, даже и для землепашца и работника еще в действительности не существовало и не существует. Во всех романах найдем интересные, завлекательные встречи и столкновения людей *различного* воспитания, *противоположных* убеждений, разнообразной психической выработки, крайне *различного* положения в обществе, людей с *несходными сословными преданиями* (и иногда и правами; например, в тех сочинениях, в которых изображается время Реставрации, *пэрства* и т. п.). Посмотрите романы Санд: «Индиана», «Валентина», «Мопра́», «Жак», «Жанна» и другие, и вы убедитесь, что на каждом шагу остатки социального неравенства, религия, простота и грубая наивность сельского быта и изящные потребности людей, имеющих при имени своем частицу *де*, дают пищу ее таланту. Даже война, о которой, собственно, она мало писала, соприсутствует, так сказать, органически каждому ее сюжету. Так, например, полковник Дельмар, муж Индианы, был бы, вероятно, несколько иного характера, *если бы он не был полковник*. Мопра́ из семьи феодальных разбойников, и весь роман наполнен сценами опасности и битв. Герой уезжает с Лафайетом на войну за независимость Америки и т. п. В кротком пастушеском романе «La petite Fadette»³ вы встречаете такую фразу в устах крестьянина: «*les belles guerres de l'empereur Napoléon*»⁴. Сверх того, в этом сельском романе и в других сходных с ним мы встречаемся с другими наследиями разнообразного и сложного прошедшего Европы – с религией, с уважением к церковному браку и христианской семье и, с другой стороны, с чрезвычайно грациозными и милыми полуязыческими верованиями в колдунов, ведьм, в так называемых «*farfadets*»⁵ и т. п. Во всех романах, одним словом, больше или меньше опасностей физических, борьба с сословными и гражданскими препятствиями, встреча и любовь героев, принадлежащих к совершенно различным классам и кругам общества (князь Кароль и дочь рыбака Лукреция; графиня Валентина и сын крестьянина Бенедикт; философски *образованная* аристократка XVIII века Эдмея и *дикий* юноша Мопра́; верующая крестьянка Жанна и молодые люди высшего круга – англичанин и два француза, которые за нее спорят и т. д.); антитезы богатства и бедности, суеверий и философского ума, церковной христианской поэзии и поэзии сладострастия... К тому же прибавим и национальные антитезы: англичане, немцы и итальянцы играют в творениях Санда немалую роль, и она всегда прекрасно обозначает у этих иноземных героев те черты их, которые развились в них лично или наследственно под впечатлениями прежней, более обособленной нациями и областями, более сложной и разнообразной Европы.

То же самое, более или менее, мы найдем у Alf. de Musset, у Бальзака, у английских писателей, например, у Диккенса.

Если бы в романе «Копперфильд» не был замешан энергический, блестящий и благородный, несмотря на свои пороки, *Стирфорт*, если бы не было его гордой и несчастной матери, если бы не было, одним словом, аристократического элемента, – выиграл роман или проиграл бы?.. Я думаю, что много проиграл бы. Беранже вдохновлялся *военной славой*

³ «Маленькая Фадетта» (фр.).

⁴ «Прекрасные войны императора Наполеона» (фр.).

⁵ Гномы (фр.).

республики и 1-й империи. Шатобриан – *религией* и томительной *романтической тоской разочарования*, до которого агрономам и фабрикантам не должно быть и дела. Ламартин, которого, вместе с живописцем Ingres, Абу считает для своего прогресса столько же необходимым, сколько лучшего химика и механика, вдохновлялся подобно Шатобриану церковной поэзией, верой и аристократический дух в нем силен; такой поэт прогрессистами должен бы считаться или вредным, если он влиятелен, или ничтожным и презренным. На что же он и ему подобные господину Абу?

Абу в одном месте очень жалуется на грубость французских крестьян; описывает, как мужик бьет крепко ломувую лошадь свою; как молодые крестьяне грубо ухаживают за девушками... Он желает, чтобы прогресс сделал их поскорее похожими на него самого, буржуазного наследника прежней барской любезности. Об этом у него целый (немного хамовато-любезный) разговор с дамой. Крестьяне кое-где во Франции, конечно, еще грубы и наивны; еще более их, разумеется, были грубы и наивны южноитальянские рыбаки в начале этого века. Однако в среде этих рыбаков Ламартин встретил свою «Грациеллу», изображение которой считается одним из лучших созданий его.

Что касается до живописца Ingres и до других художников XIX века, то и они вдохновлялись не буржуазным вечером или обедом, на котором Абу любезничал бы о прогрессе с какой-нибудь мещанкой нашего времени, но всё такими явлениями жизни, которые *без разнобразия убеждений, быта и характеров* немислимы. Один изображал чудесный переход евреев через Красное море; другой – *борьбу* гуннов с римлянами; третий – сцены из *войн* консульства и империи; четвертый – сцены из *ветхозаветной и евангельской* истории...

Если то, что в XIX веке принадлежит ему *исключительно* или преимущественно: машины, учителя, профессора и адвокаты, химические лаборатории, *буржуазная* роскошь и *буржуазный* разврат, буржуазная умеренность и буржуазная нравственность, полька *tremblante*⁶, сюртук, цилиндр и панталоны, – так мало вдохновительны для художников, то чего же должно ожидать от искусства тогда, когда по желанию Абу не будут существовать ни цари, ни священники, ни полководцы, ни великие государственные люди... Тогда, конечно, *не будет и художников*.

О чем им петь тогда? И с чего писать картины?..

Книга Абу – книга легкая и поверхностная; но поэтому самому многолюдной читающей бездарности весьма доступная, и она теперь переведена даже и по-русски.

Поэтому мы и остановились на ней несколько дольше, чем бы она заслуживала при тех серьезных вопросах, которые нас занимают.

Напоследок заметим и еще одно.

Абу посвящает книгу свою г-же Ж. Санд. Преклоняясь перед ее гением, он говорит: «Я сознал, что я уже человек немолодой, великим человеком никогда не буду (еще бы! [А ведь, значит, когда-то надеялся; с лакейским неглиже!]); но я не лишен *здорового смысла* и предназначен собирать крошки, упавшие со столов Рабле и Вольтера».

Г. Абу точно не лишен той мелкой наблюдательности, которая часто свойственна умам ничтожным, и определил верно род своего таланта. Действительно – по легкости и ясности языка, по некоторому довольно веселому остроумию, вообще по духу своему он может несколько напоминать Вольтера и Рабле. Но это сходство только наглядно доказывает упадок французского ума. При Рабле, беспорядочном, грубом и бесстыдном, Франция XVI века *только зацветала*; в XVII и XVIII она цвела и произвела великого разрушителя Вольтера, которого с наслаждением может читать за глубину его остроумия – и враждебный его взглядам (конечно, зрелый) человек, подобно тому как атеист может восхищаться еврейской *поэзией* псалмов. Франция в половине нашего века дала в этом легком роде не более, как Абу!

⁶ Бабочка (*фр.*).

Крупные литературные продукты Франции XIX века – совсем иного рода. Они известны. Он сам смиренно упоминает в своем предисловии, что Ж. Санд сказала ему: «Вы всегда пропускаете гений сквозь пальцы».

Дальше.

Бокль. Бокль громоздит целую кучу фактов, цитат, познаний, для того чтобы доказать вещь, которую в утеху устаревшему западному уму доказывали прежде его столь многие. Именно, что *разум* восторжествует над всем. (Что же тут оригинального? Разуму *поклонялись* уже в Париже, в XVIII веке.) Он, подобно многим, нападает на всякую положительную религию, на монархическую власть, на аристократию.

Но положим, однако, Бокль прав, утверждая, что в истории человечества законы разума восторжествуют, наконец, над законами физическими и нравственными. Человечество (говорит он вообще о законах физических) видоизменяет природу, природа видоизменяет человека; все события суть естественные последствия этого взаимодействия (с. 15; т. I. Истор. цивилизации в Англии). О законах нравственных он, напротив того, утверждает, что они в течение истории вовсе не изменяются, а изменяются законы (или истины) умственные. (См. с. 133–135 и т. д.)

Итак, по мнению Бокля, изменение в *идеях, во взглядах* людей влечет за собой изменение в их образе жизни, в их личных и социальных отношениях между собой.

По мере открытия и признания разумом новых истин – изменяется жизнь. «Умственные истины составляют причину развития цивилизации».

Пусть так. Но, во-первых, говоря о *развитии* (т. е. не о самосознании собственно, но об *увеличении разнообразия в гармоническом единстве*), можно остановиться прежде всего перед следующим вопросом: как понимать это слово? И не мог ли бы мыслящий человек нашего времени (*именно нашего*) выбрать себе предметом серьезного исследования такую задачу: *знание и незнание не суть ли равносильные орудия или условия развития?* Про *картину* развития государства или общества, нации или целого культурного типа (имеющего, как и все живое, свое начало и свой конец) нечего и говорить: до сих пор, по крайней мере, было так, что ко времени наисильнейшего умственного плодоношения разница в степени познаний между согражданами становилась больше прежнего. Конечно, никто не станет спорить, что во времена царя Кодра степень умственной образованности (степень знания) у афинских граждан была равномернее, чем во времена Платона и Софокла. И франко-галлы времен Меровингов были ровнее в умственном отношении между собой, чем французы во дни Боссюэта и Корнеля. *Незнание дает свои полезные для развития результаты; знание – свои*; вот и все. И не углубляясь далеко, не делая из этой задачи предмет особого серьезного исследования, можно вокруг себя найти этому множество примеров и доказательств. Упомяну только слегка о некоторых. Гёте, например, не мог бы написать Фауста, если бы он имел меньше познаний; а песни Кольцова были бы, наверное, не так оригинальны, *особенны* и свежи, если бы он не был едва грамотным простолудином. И опять, если с другой точки зрения взять того же Фауста... Для того чтобы какой бы то ни было художник, хотя бы самый сильный по дарованиям, мог бы изобразить *живой* характер, – разве не нужны ему впечатления *действительной* жизни? Конечно, необходимы. И в наше время, особенно в эпоху *реализма*, кто же станет это отвергать?

Итак, для того чтобы Гёте мог изобразить невежественную и наивную Маргариту, нужно было ему видеть в жизни таких невежественных и наивных девиц. *Незнание* простых немецких девушек, сочетаясь со знанием Гёте, дало нам *классический* в своем роде образ *Маргариты*. Эпические стихи горцев, старые былины, песни, слагаемые и в наше время кое-где *малознающими* простолудинами, с любовью разыскиваются *учеными* и дают им возможность составлять интересные и поучительные сборники; а другими словами – *незнание*

предков и более современных нам простолюдинов способствует *движению науки, развитию знания у людей ученых, знающих*.

И дальше: человек *знающий* и с поэтическим даром прочитывает этот сборник, составленный *ученым* из произведений *незнающих* или *малознающих* людей. Он, в свою очередь, вдохновляется им и производит нечто такое, что еще *выше* и простенькой былинны или песни, и ученого сборника. Люди, *знающие* толк в простонародной поэзии, все без исключения даже с ненавистью отвращаются от так называемых фабричных или *лакейских стихотворений*; а нельзя же отвергать, что фабричный знает больше земледельца, и некоторыми умственными сторонами своими грамотный лакей городской в этом же смысле ближе к профессору, чем его брат, никогда не покидавший степи, леса или родных своих гор. Я мог бы привести таких примеров великое множество (даже из самой книги Бокля; например, – *развитие архитектуры в Индии и Египте; знание высших каст и невежество народа* и т. п.); но для моей цели и этого довольно. Положим, что Бокль прав: истины разума и его законы определяют ход цивилизации. Я готов с этим согласиться; но, во-первых, ведь и *незнание* есть состояние разума; незнание – значит малое накопление фактов для обобщения и выводов. Это есть *отрицательное* состояние разума, дающее, однако, *положительные* плоды, не только нравственные, – в этом никто не сомневается, – но и прямо *умственные же*. (И в среде образованной именно какое-нибудь *частное незнание* нередко наводит *мыслящих людей на новые и блестящие мысли*. Это факт всеми, кажется, признанный.)

А, во-вторых, разве не может случиться, что именно дальнейший ход цивилизации приведет к тому, что наука государственная, философия, психология и политико-социальная практика признают необходимым *поддерживать преднамеренно наибольшую неравномерность знания в обществе*? Я полагаю, судя по разрушительному ходу современной истории, что именно высший *разум* принужден будет выступить, наконец, почти против всего того, что так популярно теперь, т. е. против равенства и свободы (другими словами, против *смешения сословий*, конечно), против *всеобщей* грамотности и против *демократизации* познаний... Вероятно, даже против злоупотреблений *машинами* и противу разных прикладных изобретений, «балующихся», так сказать, весьма опасно со страшными и таинственными силами природы.

Машины, пар, электричество и т. п., во-первых, усиливают и ускоряют то *смешение*, о котором я говорю в моих главах «Прогресс и развитие»; и дальнейшее распространение их приведет неминуемо к насильственным и кровавым переворотам; вероятно, даже и к непредвиденным *физическим катастрофам*; во-вторых, все эти изобретения выгодны только для того *класса средних людей*, которые суть и главное *орудие смешения*, и *представители* его, и *продукт*... Все эти изобретения невыгодны: для государственного обособления, ибо они облегчают заразу иноземными свойствами; для религии, ибо они увлекают малознающих и незнающих людей ложными надеждами все на тот же *разум* (односторонне в прямолинейном смысле понятом, надеждами, которые могут привести к совершенно иным результатам); они невыгодны привилегированному дворянству уже по тому самому, что усиливают влияние и преобладание промышленного и торгового класса, который, по словам самого же Бокля, «естественный враг всякой аристократии». Они невыгодны рабочему классу, который бунтовал при первом появлении машин и непременно разрушит их и постарается даже, вероятно, запретить их *драконовскими законами*, если только хоть на короткое время действительная власть будет в руках людей этого класса или под их страхом и влиянием. Машины и все эти изобретения враждебны и поэзии; надолго примирить нельзя утилитарную науку и поэзию: со стороны поэзии теперь настала пора усталости и уныния в неравной борьбе... а не внутреннее согласие. Все эти изобретения, повторяю, выгодны только для *буржуазии*; выгодны *средним людям* – фабрикантам, купцам, банкирам, *отчасти* и многим ученым, адвокатам, – одним словом, тому среднему классу, который в книге Бокля является главным

врагом царей, положительной религии, воинственности и дворянства (о рабочих и земледельцах Бокль *молчит* с этой стороны; но, заметим, *именно там*, где все дела в руках этого *среднего* класса, сами рабочие зато *говорят все громче и громче о своей к нему ненависти!*).

Бокль весьма наивно благоговееет перед тем эгалитарно-либеральным движением, которое, начавшись с конца XVIII века, продолжается еще до сих пор с небольшими роздыхами и слабыми обратными реакциями и не дошло еще настолько до точки своего насыщения, чтобы в жизни разразиться окончательными анархическими катастрофами, а в области мысли выразиться пессимистическим взглядом на демократический прогресс вообще и на последние выводы западной романо-германской цивилизации. Но только этот род пессимизма может вывести *разум* человеческий на истинно новые пути. Эгалитарно-либеральный процесс называется, смотря по роду привычки, по точке освещения, разными именами. Он называется стремлением к *индивидуализму*, когда хотят выразить, что строй общества нынешнего ставит лицо, индивидуум прямо под одну власть государства, помимо всех корпораций, общин, сословий и других сдерживающих и посредствующих социальных групп, от которых лицо зависело прежде; или то, что направление политики и законодательства должно окончательной целью иметь благо и законную свободу *всех индивидуумов*; зовут это движение также *демократизацией* в том смысле, что низший класс (демос) получает все больше и больше не только личных гражданских прав, но и политического влияния на дела. Иные зовут осторожное и благонамеренное обращение властей и высших классов с этим движением «полезными и даже благотворными *реформами*»; а Прудон со своей грубостью ученого французского мужика *ставит точку* над «i» и зовет этот процесс прямо *революцией*; то есть под этим словом Прудон понимает вовсе не бунты и не большую какую-нибудь инсurreкцию, а именно то, что другие зовут так вежливо демократическим прогрессом, либеральными реформами и т. д.

Я же потому предпочитаю всем этим терминам мой термин вторичного упрощающего смещения, что все поименованные названия имеют смысл гораздо более тесный, чем мое выражение; они имеют смысл – политический, юридический, социологический, пожалуй, не более, не шире и не глубже. Мой же термин имеет значение органическое, естественно-историческое, космическое, если угодно; и потому может легче этих других перечисленных и несколько *подкупающих* терминов раскрыть, наконец, глаза на это великое и убийственное движение людям, в его пользу по привычке предубежденным.

Бокль хочет прежде всего разума; хорошо! Будем же и мы *разумны* в угоду ему; не будем *подобно ему наивны и простодушны*; *постараемся назвать вещь по имени!*.. Движение это есть; оно несомненно, и *резкой* поворотной точки *на иной путь* мы еще *ясно* теперь не видим (то есть или мы этой точки не миновали еще, или не сознали поворота, *не приметили*, быть может); пусть это движение неотразимо, даже и навсегда (допустим это на минуту), но пойдем же именно *разумом*, суровым разумом, чуждым всяких иллюзий, всякой сердечной веры даже и в это *знаменитое* человечество и, поняв, назовем его откровенно и бесстрашно – *предсмертным смещением* составных элементов и преддверием *окончательного вторичного упрощения прежних форм*...

Это, я полагаю, более *разум*, чем добродушная *вера в средний класс и в промышленность!*

Теперь мы обратимся к *историку Шлоссеру*.

Вслед за политико-экономом Bastiat – последователем теории «laissez faire, laissez passer»⁷ в экономических вопросах, а *следовательно*, отъявленным представителем индивидуализма и легальной *средней*, так сказать, личной свободы в политике; за беллетристом Абу, который видимо любя прекрасное и желая сохранить его в искусстве, надеется в то же

⁷ Позволять делать (кто что хочет), позволять идти (кто куда хочет) (фр.).

время, что главные условия вдохновения для художников: *мистическая религия, война, социально-государственное обособление* и простонародная свежая грубость (т. е. *все не среднее*) исчезнут с лица земли; вослед за Боклем, историком, претендующим как будто бы на объективность и беспристрастие, а между тем не только явно расположенным к торгово-промышленному направлению современной жизни, но местами весьма страстно и враждебно относящемуся ко всему тому, что этому утилитарному направлению не благоприятно и не сродно (т. е. опять-таки к религии, аристократии, войне, самодержавию и простонародной наивности); другими словами, после Бокля, которого мы вправе причислить без околичностей к людям *весьма тенденциозным*, все в том же *среднем*, либеральном духе, – мы избежим в среде западных писателей Шлоссера, одного из самых серьезных, из самых дельных и даже тяжелых, но, несомненно, заслуживающего почетного эпитета *беспристрастного* или объективного. Я начну с того, что сделаю большую выписку из предисловия г. Антоновича, русского переводчика его «Истории XVIII столетия...» <пропуск>.

Таков взгляд г. Антоновича как на дух исторической деятельности Шлоссера, так и на характер самого историка.

Шлоссера действительно нелегко обличить в резкой тенденциозности. Можно, конечно, заметить, что он не расположен ни к аристократии, ни к той или другой ортодоксии, ни к поэзии мало-мальски чувственно-аристократической; но, с другой стороны, нельзя его назвать безусловно демократом или либералом; он охотно отдает справедливость и Наполеону I, и русским самодержцам, и английской знати – там, где речь идет об энергии, способностях, силе, умении управлять; с другой – неблагоприятно относится к цинизму, издевающемуся над религиозной искренностью; не опровергает, конечно, и поэзии, там, где она не оскорбляет его нравственного чувства. Действительно, уже самая трудность, с которой надо разыскивать нити этих личных взглядов Шлоссера в чрезвычайно густой ткани его умного и тяжелого труда, туманность общего впечатления, выносимого из чтения его «Истории», доказывают, что с этой стороны переводчик, пожалуй, прав, говоря, что если есть направление у Шлоссера, то оно скорее всего *общенравственное*, чем политическое или какое-нибудь еще *другое*, одностороннее. Но это *общенравственное начало*, эта *чистая эфика*, освобожденная от всякой ортодоксии, от всякого *мистического* влияния, не есть ли именно *эфика все того же среднего*, буржуазного *типа*, к которому хотят прийти нынче многое множество европейцев, сводя к нему и других посредством школ, путей сообщения, демократизации обществ, веротерпимости, религиозного индифферентизма и т. п.? Это я постараюсь позднее доказать понагляднее, а теперь для начала спрошу, откуда же взял г. Антонович, будто из «Истории XVIII столетия» Шлоссера можно вывести, что «истинно полезными двигателями истории должны (читатели Шлоссера) признать людей простых и честных, темных и скромных, каких, слава Богу, всегда и везде будет довольно»?

Ни из сочинения Шлоссера, ни из другой какой-нибудь мало-мальски здравой книги нельзя вывести, что «люди простые и честные, темные и скромные» ведут за собой историю рода человеческого! Вернее сказать было бы, что история вела за собой и двигала толпу этих «простых и честных» людей. Или можно было бы сказать, например, что «прогресс ведет человечество к безусловному торжеству этих простых и честных, темных и скромных людей».

Это и думают многие. И хотя и на это можно было бы возразить многое, но так как подобная мысль есть все-таки более надежда на будущее, чем вывод из фактов прошедшего, то она могла бы иметь еще за себя шансы какого-нибудь правдоподобного или удачного пророчества, но как же можно утверждать, что *до сих пор было так*, что известную нам *историю прошлого* вели или двигали «простые и честные люди». Правда, вооружившись эпитетом «полезные» двигатели, г. Антонович дает возможность свести рассуждение с вопроса о степени влияния «честной посредственности на вопрос – кто именно *полезный человек* и

что такое сама *польза*; но самая неясность и даже, пожалуй, неразрешимость этого вопроса для истинно мыслящего ума лишает мысль г. Антоновича этого оружия, сильного только для неопытных, маложивших и малознающих людей. И в самом деле – кто истинно *полезный человек*? Остается пожать только плечами.

Человек *бескорыстный*? Человек, способный жертвовать собою для идеи или для другого человека? Положим. Но вот Бокль тоже прогрессист, тоже стремящийся к чему-то среднему и в политике, и в морали, говорит, что *суеверие* (т. е. религиозность по-нашему) и *верноподданничество* суть два сильных и *бескорыстных* чувства... А они *очень вредны* и по мнению самого Бокля, и, по всем признакам, по мнению г. Антоновича.

Бокль прямо говорит, и во многих местах, что подобные *бескорыстные*, рыцарские и самоотверженные чувства погубили Испанское государство и что искренность и пламенная религиозность «простых и темных» пуритан сделали много вреда умственному развитию Шотландии.

Итак, бескорыстие, самоотвержение и тому подобные честные и высокие чувства и действия перед судом либеральных или демократических прогрессистов не могут быть во многих случаях критерием или признаком *пользы*.

Бескорыстие и самоотвержение останутся высокими личными свойствами, но при известном направлении их они *скорее вредны, чем полезны*, по мнению либералов и прогрессистов. Моральность субъективная, внутренняя, не совпадает в этих случаях, по их же мнению, с пользой, с моральностью объективной и прикладной, с моральностью результата.

Кто же истинно *полезный человек*?

Шопенгауэр говорит, что самый *моральный человек* это тот, кто самый *сострадательный*, добрый, кто *во всех и во всем* видит себя, всех жалеет, всякому *страданию* сочувствует.

Но Шопенгауэр и его школа ведь не верят в общее *благоденствие*, в *эвдемонический* прогресс, во всеобщую пользу на земле?

Итак, что же делать, чтобы быть *несомненно* полезным человеком?

Изобретать *машины*? По Боклю и ему подобным – это так.

По преосвященному Никанору, который не менее Бокля учен или начитан, – это вовсе не так. Яков Уатт по этому взгляду оказывается человеком гораздо более вредным, чем полезным.

И повторим здесь еще раз: так как *новейшее* направление истории идет против *капитализма* и *неразрывного* с ним умеренного, *среднего* либерализма, то, вероятно, и ближайшие события пойдут не по пути купеческого сына Бокля, а по духу епископа Никанора, по крайней мере, с этой *отрицательной* стороны: против *машин* и вообще противу всего этого физико-химического умственного разврата, против этой страсти орудиями мира неорганического губить везде органическую жизнь; металлами, газами и основными силами природы – разрушать растительное разнообразие, животный мир и самое *общество человеческое*, долженствующее быть организацией *сложной* и *округленной* наподобие организованных тел природы.

II

После Bastiat, Абу, Бокля и Шлоссера, людей более или менее умеренных, хотя и довольных тем, что все идет *под гору* и к чему-то среднему, возьмем людей недовольных и желающих ускорить смешение и однообразие.

Одного такого, который желает *упрощения деспотического, равенства крайнего без свободы*, деспотизма *всех над каждым*; а другого, желающего *упрощения свободного, равенства без деспотизма*.

Первый коммунист из коммунистов – Кабе; а второй – Прудон, который нападал на охранителей за их бессилие, на либералов средних за их противоречия и недобросовестность, на социалистов вроде Сен-Симона и Фурье за *удержание некоторого неравенства и разнообразия* в общественном идеале, а на коммунистов вроде Кабе за их *принудительное равенство*.

В идеальном государстве «Икарии», созданном коммунистом Кабе, конечно, не могло бы быть никакого разнообразия в образе жизни, в роде воспитания, во вкусах; вообще не могло бы быть того, что зовется «развитием личности». *Государство в Икарии делает все*. Но *государство* это выражалось бы, конечно, не в лице монарха, не в родовой аристократии, а в каких-нибудь выборных от народа, одного воспитания с народом, одного духа с ним, выборных, облеченных временно в *собираетельное* лице какого-нибудь совета *неограниченной властью*. Разумеется, каждый бы член такого совета не значил бы ничего; но все вместе были бы могущественнее всякого монарха. Идеал этого рода именно и рассчитывает на *высшую* степень однообразия, на *господство всех над каждым* через посредство избранного, республикански-неограниченного правительства.

Это уже не свободный *индивидуализм*, в котором подразумеваются еще какие-то оттенки личной воли; нет, это какой-то или невозможный, или отвратительный *атомизм*.

Различие людей в таком идеальном государстве было бы только по роду *мирного ремесла*. Общее же воспитание должно бы быть вполне одинаковое для всех. Собственности никакой. Все фабрики, все общественные заведения – от казны. Личному вкусу, личному характеру не оставалось бы ничего. Единственный личный каприз, о котором упоминает Кабе и которому он покровительствует, это *скрещивание* лиц с разными темпераментами и физиономиями. «Брюнет ищет блондинку; горец предпочитает дочь равнин» и т. д. Но и это ведь ведет к скорой выработке некоего *общего среднего типа*, который должен стереть все резкости, выработавшиеся случайно в данной стране *до подобной коммунистической реформы*, т. е. тоже к *однообразию*. Сверх *предваряющих* мер однообразного воспитания, однообразной обстановки, однообразной жизни государство в Икарии берет и строгие *карательные* меры против всякого *антикоммунистического мнения*. К однообразию, внушенному воспитанием и поддерживаемому всем строем быта, оно прибавляет еще упрощающее средство *всеобщего страха*.

Точно то же мы встречаем и в «Манифесте равных» известного Бабёфа.

Вот теперь выписки из Прудона.

Обыкновенно говорят, что Прудон умел только разрушать, не создавая ничего нового, не предлагая ничего положительного. Это правда, что у него нет ни полной, готовой, законченной до подробностей картины идеального устройства общества, нет ничего подобного социальным картинам Платона, Кабе или Фурье; нет и тех мелко практических, паллиативных советов, которые в таком множестве встречаются у других, особенно нерадикальных писателей; но из всех сочинений его, несмотря на все кажущиеся противоречия его, вытекает ясно одна идея, одна цель: «Высшая степень равенства, в высшей степени свободного».

Особенно ясно это видно в его книге «Исповедь революционера».

Книга эта начинается так:

«Пусть все монархи Европы составят союз против народов».

«Пусть викарий Христа (папа) предает свободу анафеме».

«Пусть республиканцы гибнут под развалинами своих городов!»

«Республика остается неизменным идеалом обществ, и оскорбленная *свобода* воссияет снова как солнце после затмения».

Далее он отвергает правило, принятое многими радикалами на Западе: *социальная революция есть цель; политическая революция есть средство*; и говорит напротив того: политическая революция (т. е. окончательная идеальная выработка формы самоуправления народного) есть цель; а средство есть реформа *социальная*; т. е. надо действовать прежде всего, приготовляя массы народа правильным воспитанием, и тогда формы политического идеала создадутся сами собою, общим гением народа. Идеал этот – *анархия*. Но не то, что мы переводим *безначалие*, т. е. беспорядок, бунт, грабеж и т. п., а, так сказать, постоянное правильное *безвластие*. Поэтому Прудон и судит очень строго социалистов и коммунистов: Луи Блана, Кабе, Овена и других им подобных за то, что они хотят действовать средствами правительственными, *властью* на неприготовленные массы и в самом идеале своем не умеют обходиться без власти, «*sans un pouvoir fort*», без абсолютизма.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.